

Сергей Булгаков

Родился в 1975 году в Республике Алтай. Окончил географо-биологический и филологический факультеты Горно-Алтайского государственного университета. Работал в ГТРК «Горный Алтай» ведущим программ ТВ и радио. Член Союза журналистов России. Живет в Горно-Алтайске.



КАК Я ПРОВЁЛ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ

Отрывок из повести

В молодости я был уверен в суверенности выбора своих поступков. Еще бы, ведь мое взросление пришлось на время, когда само слово «свобода», казалось, растворилось в воздухе, наполнив легкие, а через них и головы вчерашних строителей коммунизма. Но был ли я уж настолько свободен и, как считал, жил своим умом, если моя судьба, словно под копирку, повторяла судьбы сотен моих сверстников? В восьмидесятые, будучи примерным пионером, я искренне верил в идеалы социализма, что живу в лучшей стране на свете, и за это Родина наградила меня путевкой в главный пионерлагерь Союза. Но пришли девяностые. Коротко постригшись, я скроил из старой отцовской ушанки норковую кепку, надел спортивные штаны, а на сэкономленные со школьных обедов деньги купил в комиссионке черную кожаную куртку. В довершение модного

образа пионерский значок на моей груди сменила начищенная о валенок латунная печатка. И все же, поменяв идеалы юности, перестройка не коснулась моих принципов. Я по-прежнему стремился быть честным, ценил настоящую дружбу и уж точно не собирался отсиживаться за чужими спинами. Все, как и учили, вот только в этот раз страна отправила меня, как и многих других вчерашних лидеров пионерии, уже в совсем другие лагерь. За что? Когда мне задают этот вопрос, я отшучиваюсь — за мечту. Но об этом лучше по порядку.

Как-то в восьмом классе, весенним апрельским утром, меня неожиданно прямо посреди урока вызвали в пионерскую комнату. Школа готовилась к празднованию главного дня рождения страны, и, будучи горнистом отряда, я догадывался, по какому поводу понадобился на заседании дружины. Но в этот раз меня ждал сюрприз.

— А вот и Томилов. Проходи, Сережа.

Поставив графин красных гвоздик к гипсовому бюсту Ленина, наша пионервожатая Марина Альбертовна поправила цветы и, повернувшись ко мне, продолжила:

— Буду краткой. Оценив показатели успеваемости нашей школы, а также прочие заслуги, руководство горкома ВЛКСМ решило наградить нас путевками в пионерский лагерь «Артек»! Поедут четыре девочки и четыре юноши. Мы, — Марина Альбертовна обвела взглядом сидящих за столом членов дружины, — посоветовались и решили, что ты достоин быть одним из них.

От такой новости у меня чуть ноги не подкосились. «Артек» в моем понимании был чем-то недостижимым, настоящим пионерским раем, попасть куда могли только... На самом деле, я даже представить себе не мог, насколько нужно было хорошо учиться, заниматься спортом и участвовать в жизни дружины, чтобы завоевать это почетное право.

— Как — в «Артек»?! Я не могу...

— Это еще почему? — не поняла Марина Альбертовна, и в пионерской комнате повисла настороженная тишина.

Вопрос вожатой неожиданно поставил меня в тупик. Учился я и правда на одни пятерки, со спортом тоже дружил, регулярно занимая призовые места на межшкольных соревнованиях, да и

как горнисту отряда мне действительно доверяли самые ответственные мероприятия, но не в «Артек» же меня за это!

— А можно с мамой посоветоваться? — не нашел я лучшего ответа, и от собственной растерянности к горлу подкатил комок.

— Не хочет — не надо, — воспользовался неловкой заминкой Колька Неверов из класса постарше. — Давайте я вместо него съезжу.

Колькину инициативу с ходу поддержал его одноклассник и друг, старшина дружины Володя Морозов. Володя пользовался заслуженным авторитетом, и не видать бы мне Черного моря как своих ушей, если бы Марина Альбертовна не догадалась, в чем дело. Изобразив строгий вид, который у нее очень даже получался, она произнесла фразу, за которую и сейчас, спустя много лет, я ей благодарен.

— Томилов, — сказала она, — никто не спрашивает, хочешь ты ехать или нет. Это пионерское задание, порученное тебе Советом дружины, так что будь готов!

Только по дороге домой я осознал обрушившееся на меня счастье. Ехать в прославленный пионерский лагерь, да еще с первой отличницей нашего класса Наташкой Ключанцевой, в которую я был беззаветно влюблен! Такое, согласитесь, случается не с каждым.

Путешествие в Крым, запах кипарисов, прощальный костер и, конечно же, медленный танец с Наташкой на берегу Черного моря! Месяц в «Артеке» стал незабываемым. Лишь одно событие немного омрачило ту поездку. Мы были уже несколько дней в пути, возвращаясь домой, когда наш поезд остановился на одной из промежуточных станций и почему-то все никак не трогался. Несмотря на поздний час, мне не спалось. На нижних и соседней верхней полке, укрывшись белыми простынями, мирно сопели мои товарищи, вчерашние артековцы. В купе было душно и тихо, лишь из-за стенки доносились голоса наших девчонок, но через какое-то время они тоже смолкли. Думая о Наташке, я стал смотреть в окно, любуясь красно-синими огнями семафоров. Вскоре на соседние пути подогнали необычного вида вагон, который, вероятно, и стал причиной нашей задержки. Внешне он смахивал на пассажирский, только у него, как у грузового, совсем не было окон.

Вместо них по бокам, словно жаберные щели стальной рыбы, блестящие прорези вентиляций. Через некоторое время к странному вагону подъехал автобус, а за ним, пятясь задним ходом, подкатил газик с будкой. На крыше газика мельтешила синяя мигалка, напомнившая мне сельскую дискотеку с прошлогодних каникул. Увидев ее, переходивший через пути запоздалый прохожий изменил маршрут и поспешил скрыться за нашим поездом. Между тем не успел автобус остановиться, как из него один за другим стали выбегать милиционеры с собаками. Некоторые из них были вооружены автоматами, другие держали в руках резиновые дубинки. Выстроившись в два ряда, они образовали живой коридор, растянувшийся от вагона до машины. Затем, видимо, по сигналу, у будки газика распахнулась дверь, и из нее выпрыгнул невысокого роста человек. Несмотря на разгар лета, он был одет в черную фуфайку, а на его руках, к еще большему моему удивлению, я разглядел зимние варежки. Дальнейшие события походили на спортивную эстафету. Приземлившись на асфальт, спрыгнувший изо всех сил устремился сквозь милицейский строй. Не успел он добежать до вагона и заскочить вовнутрь, как из будки появился ее следующий пассажир, одетый тоже не по сезону и во все черное. Ночные соревнования проходили под лай рвущихся собак. Было видно, что их участники старались как можно быстрее проделать свой путь, но это не спасало их от ударов дубинок. Те, на ком не было фуфаек, прикрывались руками как могли, но им доставалось больше всех. В спешке один из выпрыгнувших не удержался и упал на перрон. Он отчаянно пытался встать, но это у него почему-то никак не получалось. Натянув поводок, одной из овчарок удалось схватить его за ногу, и, мотая головой, она стала ее трепать. Когда же упавший наконец смог освободиться и поднялся, я с ужасом увидел, что из коротких рукавов у несчастного торчат култышки. Одной из них он подцепил упавшую сумку и, прихрамывая на ногу в разорванной штанине, поспешил к вагону.

Ночное происшествие оказало на меня сильное впечатление, вместе с тем, оно так не вязалось с настроением и эмоциями, пережитыми на берегу Черного моря, что мне захотелось поскорее о нем забыть. Конечно, я догадался, кем были эти люди, и про себя поклялся, что со мной такое никогда не произойдет. Возможно,

мне бы удалось сдержать свою клятву, если бы не поменялась страна, в которой мы жили, а вместе с ней не изменился и я.

Закончив школу, я поступил в институт. Причина, как и у многих моих сверстников, была одна — отсрочка от армии. Мы, молодое поколение, не без оснований считали, что быть патриотом — значит позволить государству продолжать себя обманывать. Да и потерять два года, когда в стране творились такие перемены, значило упустить свой шанс. К тому времени мне уже был знаком вкус легких денег. На перепродаже жвачки и сигарет я за неделю зарабатывал больше, чем мой отец получал за месяц. Меня, как и большинство моих сверстников, переполняло чувство гордости. Еще бы, мы только входили во взрослую жизнь, а уже сумели разобраться с тем, на что у предыдущих поколений ушло полжизни. Красные стяги на улицах сменялись рекламными стендами, и вместе с ними менялись наши мечты.

К тому времени к нам в город, теперь уже на постоянное место жительства, вернулся мой закадычный друг. В начале восьмидесятых его родители приехали из Чечни в Сибирь за заработком, и мы с первого по пятый класс учились вместе. В этот раз его семью вернула разгоравшаяся на Кавказе война. Продав кирпичный особняк с садом в центре Грозного, они смогли купить лишь небольшой деревянный домик на окраине нашего города, но и этому были рады.

Алик, так звали приятеля, со дня нашей последней встречи, а это было как раз перед моим отъездом в Артек, заметно повзрослел, и не только внешне. Он, как всегда, был полон свежих идей и планов на жизнь. Мы быстро восстановили отношения и много времени проводили вместе. С Аликом было всегда интересно, а главное, он умел удивлять.

Как-то летом, купаясь на речке, мы познакомились с местными девчонками. Загорая на большой бетонной плите, забытой строителями, они время от времени поглядывали в нашу сторону и о чем-то дружно смеялись. Небо жаркого июньского дня наполнял запах цветущей сурепки и крики плескающейся детворы. Раскаленная галька приятно обжигала плечи. Мы долго не решались, но наконец осмелились и подошли. Знакомясь, я сказал, как меня зовут, и уже собирался представить Алика, когда он

неожиданно произнес имя Антонио, заговорив по-итальянски. На самом деле это, конечно же, была непереводаемая тарабарщина, типа «дольче вита ля финита», но на школьниц из небольшого провинциального городка это произвело должное впечатление. Образ романтического итальянца дополнили кавказский загар и кудрявые волосы. В то время иностранцы были в моде, и я не переставал удивляться, с каким изяществом Алик играет эту роль. Девчонки тоже оценили актерский талант моего друга и долго смеялись, когда узнали, что это розыгрыш.

Следующая история началась тоже довольно неожиданно. Как-то вечером, сидя в парке, Алик предложил забраться на самое высокое сооружение нашего города. Признаться, я и сам уже давно мечтал осуществить эту идею, поэтому, не раздумывая, согласился. Мы не стали дожидаться, когда окончательно стемнеет, и двинулись в сторону промышленного района. Нашей целью была фабричная труба. Ее красные сигнальные огни виднелись издалека, служа нам хорошим ориентиром в спускающихся на город сумерках. Как выяснилось, Алик уже успел покорить эту высоту. Пока мы шли по ночным переулкам, обрывая свисавшие из-за заборов кусты яблонь, он рассказал, что, по его подсчетам, высота трубы не менее ста метров и ночной вид с нее поистине впечатляет.

Подойдя к территории фабрики, мы уперлись в бетонный забор, но без труда нашли лазейку и короткими перебежками, прячась за груды шлака и брошенную технику, добрались до цели.

— Ты только не дрейфь, — подбодрил Алик, — а главное, вниз не гляди.

— А то что? — наивно поинтересовался я.

— Там узнаешь.

Подтянувшись на нижней перекладине железных перил, мой приятель сделал подъем с переворотом и, ловко перехватившись, полез наверх. Первые метров двадцать пришлось карабкаться поверх оградительного тоннеля из арматуры, но и когда он закончился, стало не легче. Лестница представляла собой вмурованные в кирпич скобы, многие были вырваны или шатались. Подошва моих ботинок то и дело соскальзывала, и я еле успевал ухватиться, чтобы не улететь вниз. Но и это еще полбеды. Настоящее испытание началось после того, как мы преодолели

большую часть подъема и дома на земле превратились в игрушечные. Стали появляться целые пролеты, где о скобах напоминали лишь черные отверстия в кирпичной кладке. Чтобы дотянуться до ближайшей из них, приходилось, изо всех сил прижимаясь к трубе, медленно вставать чуть ли не в полный рост. Я крепился, как мог, но силы мои были на исходе. Мышцы ломило и безумно хотелось пить. Последние метры дались с большим трудом. Когда же я, наконец, заполз на горизонтальную поверхность железного карниза, опоясывающего венец трубы, мои руки дрожали, а сердце бешено билось. Было видно, что Алику путь наверх дался тоже нелегко. Он сидел, откинувшись спиной к трубе, и на его лице сияла довольная улыбка.

— Ну и как?

Я собрал остатки сил и приподнялся на локти. Передо мной открылась панорама ночного города.

— Красиво!

Увиденное действительно впечатляло. Под звездным, уходящим далеко за горизонт небом сияли бесчисленные огни многоэтажек, уличных фонарей и рекламных вывесок. Оказалось, что город, как по линейке, разделен на ровные квадраты кварталов, между которыми плыл красно-золотистый поток автомобильных фар и габаритных огней. Какое-то время мы молча смотрели вниз, слушая какофонию ночных улиц.

— Жаль, что девчонке сюда не забраться, — наконец констатировал я, вставая на ноги и отряхивая колени.

— Ты про Ключанцеву, что ли?

Алик угадал. Я действительно представил себе Наташкины эмоции, если бы она была рядом и видела эту красоту.

— А мне сказали, что она теперь с Костей Даниловым встречается. Это правда?

— Ну, встречается, и что?

— Да нет, ничего. Просто — охота тебе страдать?

Алик повернулся к трубе и стал рассматривать выцарапанные в кирпиче надписи.

— Видал, ради чего жизнью рискуют? Паша плюс Даша равно... А самое смешное, ведь ты прав, ни одна баба сюда ни за что не заберется. Тогда для кого это? Не знаю. По мне, так

любовь — это как головоломка. Мучаешься над ней, пока думаешь, что она разрешима. А вот ты представь, что кто-то просто взял и подшутил над тобой.

Взглянув на Алика и поняв смысл его слов, я кивнул на звездное небо.

— Если ты про него, то зачем ему это?

— В смысле, зачем Богу шутить над нами?

— Ну да. Он же, типа, не клоун в цирке. У него на все есть причина.

— Но тут уж, сын мой, пути Господни неисповедимы. Может, хотел, чтоб лучше плодились и размножались, а может, просто решил сделать жизнь на Земле чуточку веселей. Он же не думал, что так далеко зайдет, а ты, наивный, взял и поверил. Хотя, если по чесноку, я бы и сам че-нить здесь нацарапал, только боюсь, в жизни все по-другому.

— Говоришь прям как мой отец, когда выпимши начинает жизни учить. Только по-другому — это как? Типа, по-взрослому?

— Да дело даже не во взрослости. Ну, не знаю, вдруг у твоего уравнения любви «Сережа плюс икс» вовсе не одно, а множество неизвестных? Ты ведь не проверял. Зациклился на своей Наташке и не видишь никого вокруг. Или, может, оно и вправду неразрешимо. Таких примеров тоже сколь угодно. И что тогда?! Молчишь? А я тебе скажу! Тогда все твои поиски и переживания — пустая трата сил и времени! — мы встретились взглядами. — Можешь соглашаться со мной или нет, но, поверь, как только это до тебя дойдет, тебе сразу станет легче.

— А кто тебе сказал, что я хочу как легче? — парировал я.

— Вот за это, дружище, тебя и люблю! — Алик обнял меня, шутливо потрепав по затылку. — Ладно, как знаешь. Я, вообще-то, не за этим тебя сюда затащил. Значит, красиво, говоришь?! Это что. А теперь представь, как выглядит ночной Нью-Йорк! «Big Apple» — город самых высоких небоскребов в мире. Вот где настоящая красота! Не знаю, о чем мечтаешь ты, а имя моей возлюбленной — Свобода! И, к твоему счастью, Томилов, я не ревнив. Бери, наслаждайся, сколько влезет!

В порыве эмоций Алик вскочил на железные перила и, раскинув руки, прокричал:

— Э-ге-гей! Я люблю тебя — Свобода-а-а!

Силуэт друга, развевающиеся на ветру полы его джинсовой рубашки оттенял блеск городских огней, но даже их сияние не могло сравниться с тем, что я увидел, задрвав голову. Казалось, если забраться на самую верхушку трубы и ухватиться за Ковш Большой Медведицы, то можно без труда зачерпнуть край Млечного Пути, плавающего в бездонной чашке звездного неба. Вглядываясь в эту красоту, я действительно, может быть, впервые за всю свою жизнь испытал столь отчетливое чувство безмерной свободы и счастья. Все же Алик молодец, подумал я, как хорошо, что он вернулся!

— Алик, а помнишь, как ты тех девчонок на речке разыграл?

— Ну и что?

— Да так. Смешно получилось.

— Кто о чем, а вшивый про баню.

Спрыгнув с карниза, мой приятель обернулся ко мне.

— Лучше слушай, что скажу. Я как-то еще в Грозном передачу по телеку видел про эмигрантов. Оказывается, в Нью-Йорке есть целый район, где только наши живут, так там, представь, даже английский знать необязательно. Вывески магазинов, реклама — все на русском. Прикольно, правда?

Мы немного помолчали, и Алик продолжил:

— На самом деле, я уже давно понял, что в Сибири жить не смогу. Че улыбаешься? Тебе хорошо, ты здесь вырос, не замечаешь этих холодов. А у меня, как зима — руки синеют. Даже в варежках ломит, не знаю, куда деть. Да и вообще, надоело. Развиваться надо, а не в этом болоте сидеть.

Алик достал сигарету. Его сложенные от ветра ладони осветило синее пламя зажигалки, и на уровне лица замаячил красный огонек.

— Ты только пока никому не говори, в общем, я решил в Штаты свалить.

Эта новость, мягко говоря, меня ошарашила.

— Как — в Штаты?! Насовсем, что ли?

— Пока не знаю. Поживу год-другой, а там посмотрим.

— Ну, ты даешь! А загранпаспорт? — поинтересовался я, втайне начиная завидовать другу.

— Да с этим теперь проще. Есть пару вариантов. Мне бы только туда добраться, а там что-нибудь придумаю. Знаешь, сколько в Нью-Йорке простые бомбилы заколачивают?

— Таксисты, что ли?! Так у тебя же водительских прав нет.

— Ну и что. Там наши все равно недействительны. Про такси, это я так, к слову. Ты вообще представляешь, что такое Америка?!

— Ну да. Согласен, там круто. А деньги на билет где возьмешь?

Алик сделал глубокую затыжку.

— Вот с этим сложнее. Хотя есть у меня одна задумка. Ты, кстати, не знаешь, где можно цветной принтер хотя бы на время вымутить?

— Да, вроде, нет. Он же, наверное, кучу бабок стоит.

Я замешкался.

— Хотя постой. Слышал, один коммерс, который торгует такой аппаратурой, сдает ее в почасовую аренду. Прямо у себя дома, прикинь. Правда, берет за это нехило. Валерка Саврасов с Федотовым распечатывали у него книгу по кунг-фу. Классно получилось, один в один.

Так все и началось. Хоть руки от мороза у меня не ломило, я не мог отстать от друга. Голливуд, чьими фильмами мы упивались в душной темноте видеосалонов, успел внести свои коррективы в головы вчерашних пионеров, превратив оплот мирового зла в объект сладостных грез и вожделения. Мы были согласны променять свои теплые уютные постели на картонные коробки, лишь бы подышать заокеанским воздухом свободы и увидеть огни ночного Нью-Йорка.

План Алика был до гениальности прост. Он предложил напечатать деньги. С этой целью в одно прекрасное утро мы и несли визит к подпольному продавцу электроники. Правда, просидев в гостях до позднего вечера, нам так и не удалось выжать из принтера, который оказался в нашем распоряжении, ничего достойного внимания. Кроме того, это чудо техники начала 90-х печатало столь медленно, что, выдавай он настоящие купюры, их едва бы хватило, чтоб рассчитаться за его же аренду. Я бросил неудачную затею, Алик же, по-видимому, решив хоть как-то под-

сластить провал операции, попытался на одну из напечатанных банкнот купить банку меда на базаре. Дед, которому он протянул бумажку, хоть и был в очках с «огромными», как потом рассказывал Алик, окулярами, тем не менее, сумел разглядеть подлог. Он мертвой хваткой вцепился в руку незадачливого фальшивомонетчика и вызвал милицию.

На допросе Алик не стал ничего скрывать. На следующий день оперативники пришли сначала за мной, а затем нанесли визит и к продавцу электроники.

Статья, по которой мы проходили, относилась к категории особо тяжких. Еще бы, подрыв экономики государства, изготовление и сбыт фальшивых денег. Тем не менее, я не терял надежды. Адвокат сказал, что отсутствие судимостей и хорошие характеристики из института на моей стороне, поэтому, вероятней всего, дело закончится условным приговором. Главное, добавил он, не повторять пройденных ошибок.

Путь зэка начинается с задержания или взятия под стражу в зале суда. Если во время следствия ты находился под подпиской, то на приговор приходишь вольным человеком, а из суда, в случае реального лишения свободы, тебя уже выводят в наручниках. Такой вариант развития я, как ни пытался, не мог себе даже представить. Совет Алика собрать сумку с необходимыми вещами, казался злой шуткой. Какие еще теплые носки, чай и кипяtilьник?! Идя в суд, я надел свой лучший пиджак и любимую розовую рубашку. Домашний мальчик, мечтатель-идеалист, в голове которого продолжали жить штампы пионерского детства, заглянув перед выходом в зеркало, я повторил: «Все будет хорошо. Суд во всем разберется и обязательно даст тебе шанс».

На завершающее заседание пришло неожиданно много народа. Зал был набит битком. Какие-то незнакомые люди с любопытством следили за происходящим, о чем-то переговаривались и кивали в нашу сторону. Наконец нам дали последнее слово. Я без запинки произнес заранее приготовленную, полную раскаяния речь, Алик же был немногословен. После того, как он закончил, судья с присяжными заседателями удалились в совещательную комнату.

Идя на приговор, я краем глаза заглянул во внутренний двор суда и с облегчением отметил отсутствие там автозака. Не было намека на конвой и в коридорах здания. Все это вселяло надежду. Кроме того, судья в этот день вела себя на редкость миролюбиво, много улыбалась и даже шутила. Тем неожиданней стал зачитанный ею приговор. Я получил три, а Алик — три с половиной года общего режима. В одно мгновение двери распахнулись, и в зал вошел вооруженный автоматами конвой, который надел на наши запястья наручники. Нас оттеснили от остальных, даже не дав проститься с близкими. Последнее, что я увидел, выходя в коридор, были плачущие глаза мамы.

В отличие от меня, Алик изначально не питал иллюзий насчет нашего приговора. В школе будучи, как и я, отличником, он, тем не менее, никогда не стремился стать примерным пионером, его не хвалили на собраниях, и уж тем более не отправляли в «Артек». Зато он видел разгоравшуюся войну в Чечне, которая, еще даже не успев начаться, уже лишила его родительского дома. Неудивительно, что у моего друга был несколько иной взгляд на государство, и, справедливости ради, стоит сказать, что недоверие это было взаимным. Семь месяцев из девяти, пока шло следствие, Алика продержали в тюрьме, и только потом выпустили под подписку. Оказавшись на свободе, он предложил мне ударить в бега, конечным пунктом которых должна была стать все та же Америка. В этот раз я благоразумно отказался, и вот теперь, сидя в тесной зарешеченной камере спецмашины по дороге в КПЗ, он ставил мне это в вину. Я молчал, не отвечая на его укоры, но вовсе не потому, что жалел о своем решении. В моей голове происходили куда более масштабные тектонические сдвиги. Прислонившись к отверстию в обивке автозака, ловя глазом солнечный свет, я, как когда-то в детстве в темноте зрительного зала, мечтал о чуде — оказаться там, по ту сторону экрана. Странно. Моя жизнь только что перевернулась с ног на голову, меня везли в наручниках в железной клетке, а мир вокруг остался прежним. В мелькающих кадрах знакомых улиц люди продолжали жить своей жизнью, куда-то спешили, над чем-то смеялись, гуляли с детьми, и главное, никто не хотел замечать моего исчезновения.

Сменив статус, я перестал для них существовать, стал их противоположностью — антиматерией.

Когда автозак остановился и раздался лай собак, я готов был поклясться, что все это уже когда-то переживал. Перед глазами возник ночной вокзал, необычный вагон и одетые в черную робу люди, только тогда я был случайным очевидцем, счастливым пионером, возвращающимся с берега Черного моря, сейчас — одним из них.

Дверь распахнулась, и голос снаружи скомандовал:

— Руки за голову, бегом по коридору.

После общего шмона один из конвоиров увел Алика и спустя какое-то время вернулся за мной. Мы прошли сквозь локальное заграждение и оказались в темном коридоре с железными дверьми, размашисто пронумерованными белой краской. Возле одной из них охранник скомандовал: «Стой. Лицом к стене». Слушая лязг засова, я готовился переступить черту, обещавшую навсегда изменить мою жизнь. В голове проносились самые невероятные варианты развития событий, но увиденное даже разочаровало. Камера была пуста. Лишь в дальнем углу, закутавшись с головой в пальто, кто-то мирно дремал. Дверь за моей спиной захлопнулась, и стало еще темней, чем в коридоре. Привыкнув зрением, я осмотрелся по сторонам. Небольшое окно напротив было плотно зарешечено, и тусклый желтый свет пробивался лишь из небольшой отдушины над входом. Стены помещения покрывала толстая цементная шуба. Справа от меня в переднем углу стояло ведро, от которого, несмотря на крышку, дурно пахло. Впереди, в метре от порога, возвышался широкий деревянный настил, на котором и лежал спящий. Воцарившаяся вдруг тишина начала давить на уши. Шум зала заседания, голос судьи, лай собак остались где-то там за железной дверью и казались теперь бесконечно далеким и незначительным, впрочем, как и вся прежняя жизнь. Я шагнул к настилу, разулся и лег, положив под голову туфли. «Три года — это тридцать шесть месяцев, или тысяча девяносто пять дней. Даже если отнять сегодняшний, остается тысяча девяносто четыре». С окна сквозило. Последовав примеру сокамерника, я попытался с головой накрыться краем пиджака.

— Еду брать будешь? — меня кто-то толкал в бок.

Я открыл глаза и увидел небритую улыбающуюся физиономию со слегка раскосым азиатским взглядом.

— Еду и чай принесли, брать будешь? — по-видимому, это был мой сокамерник.

— Чай буду.

— Но тогда бери, или кормяк закрою, — раздался еще чей-то голос.

Подняв голову, я увидел в дверном окошке лицо охранника.

— Я возьму, лежи, — сокамерник подошел к двери, — и пайку давай.

Охранник протянул ему кружку с хлебом и захлопнул проем.

— А меня срубило, даже не слышал, как тебя привели. Ни закурить, ни заварить нету. Ночью уснуть не могу, а днем как вареный — в сон тянет. Ты ешь, успевай, здесь посуду забирают.

Я сел и огляделся по сторонам.

— Тебя как звать? — продолжил сокамерник.

— Сергей.

— Ясно. Меня здесь Монголом кличут.

Мы пожали друг другу руки.

— А время сколько? Я долго спал?

— Вечером еду в семь приносят. Вообще, на будущее, если даже не хочешь, все равно бери, хотя бы хлеб. Если решат, что на голодовке, проблемы будут.

Я кивнул.

— Скажи, а как тут умыться?

— Утром, если спросишь, кружку воды дают. А, там, умыться или на чифир, дело твое.

Несмотря на неопрятный вид, от моего собеседника исходило что-то умиротворяющее, почти домашнее.

— Ты здесь давно?

— Третью неделю. Без документов я, вот и держат.

— И что, все время один сидел?

— Да так, приводят, уводят. В основном тех, кто судится. А у тебя-то сигарет нет?

— Да вот не догадался. Надо было у подельника взять.

— Надо было.

Подойдя к решке, Монгол достал из внутреннего кармана пальто короткий засаленный окурок, и, бережно поправив его, закурил.

— До тебя с одним сидел. Дочь на него за драку написала. Уже под вечер с приговора завели, семь лет привез. Говорю, ничего, крепись, хуже бывает. Нет, кого-то заходил, засобирали, одеяло у него в каптерке, что ли? Мол, себе заberi. Еще какие-то вещи. А я уже прилег, дремал. Думаю, че он там себе под нос? Потом слышу, настил скрипнул и глухой удар. Видишь, вон там бурое пятно? Я соскочил, давай в дверь долбить, никто не идет. А у него из головы кровь, да густая, че кисель. Кое-как доорался, унесли. Но лицом он совсем уж бледный был. Не знаю, выжил или нет. У охранников спрашивал, не говорят.

Я перестал жевать хлеб, глотнув чай из кружки.

— А шнурки и ремень на шмоне тоже из-за этого отмели?

— Ну да. Так положено.

— Похоже, здесь это не редкость?

— Бывает. Хотя, конечно, лучше так не делать. Менты начнут крайних искать, остальных дергать, доказывай потом, что не верблюду.

Свет в камере не выключали, спать не хотелось, и мы проговорили до поздней ночи. Монгол рассказывал про свою жизнь, давал советы бывалого и часто шутил, поднимая мне настроение. Я был благодарен ему за это.

Меня разбудил доносившийся откуда-то из коридора лязг засова, и я спросонья не сразу понял, где нахожусь. Эти секунды — единственное, что остается от прошлой жизни, хотя и они со временем уходят в тюремное небытие. Рука, на которой спал, онемела и была ватной, с окна сильно тянуло, но я продолжал лежать с закрытыми глазами, наблюдая за тем, как осознание новой реальности начинает разъедать меня изнутри.

— Серега, поднимайся. Соседнюю хату заводят, сейчас нас в туалет поведут.

Привстав на локоть, я нехотя осмотрелся по сторонам.

— Давай, просыпайся, — повторил Монгол, — надо еще успеть парашу вынести.

Первые дни заключения самые трудные, самые болезненные. Фантомная боль моей утраченной свободы остывала лишь ночью, во время сна, но и то только для того, чтобы утром родиться с новой силой. Анестезии от этого нет. Когда становилось совсем невмоготу, я затевал разговор с Монголом, а если он спал, начал обследовать камеру, скрупулезно, не спеша заглядывая во все щели и трещины цементной шубы. Помимо расплавленных фильтров, обгоревших спичек и чирков, в одной из записок мне посчастливилось найти небольшой огрызок карандаша. Радости моей не было предела. Теперь я мог записывать мысли и даже рисовать на развернутых пачках из-под сигарет, предусмотрительно оставленных кем-то из моих предшественников.

В КПЗ держат не больше суток, но мы попали на выходные, и ближайший этап в тюрьму предполагался лишь в понедельник вечером. Я хоть и ждал этого момента, после того, как открылся кормяк и охранник назвал мою фамилию, на душе стало тревожно. Монгол провожал меня тоже с нескрываемой грустью.

После приговора наш адвокат написал кассационную жалобу в Верховный суд, и мы стали ждать ответ. Бумаги из Москвы должны были прийти в течение трех-четырех месяцев.

Тюрьма, в которую нас этапировали, находилась за городом, на месте бывшего женского монастыря. Впоследствии, поколесив по стране, я убедился, что в советское время так поступали часто, делая из монастырей тюрьмы. Во-первых, удобное расположение, как правило, на окраине или недалеко за городом, плюс крепкие стены с подходящей внутренней планировкой. Наша тюрьма состояла из трех корпусов. Два из них, более поздних, были построены в начале девяностых и находились чуть ниже главного. Возводились они руками самих зеков, что было заметно как во внешнем облике, так и в качестве строений. Самым же большим и старым из этого триптиха было серое двухэтажное здание, в котором, собственно, когда-то и располагался монастырь. Стояло оно на возвышенности, и, если бы не зарешеченные окна, из него, пожалуй, открывался неплохой вид на окрестности.

Очевидно, что переделать бывшие кельи в тюремные камеры не составило большого труда. Достаточно было внутренние

засовы на дверях заменить внешними и на окна повесить решетки. А вот монастырский дух из намоленных стен, видимо, так и не выветрился даже спустя столько лет. Атмосфера здесь была особенной. Среди заключенных, бывавших в старом корпусе, ходило множество баек, одна из которых про черную монахиню. Якобы во время ликвидации монастыря, когда все послушницы уже были вывезены, их настоятельница отказалась исполнять приказ красного командира. Никакие уговоры и угрозы не помогли, и беспощадный к религии коммунист решил по-своему исполнить желание игуменьи остаться в родных стенах. Он приказал солдатам заживо замуровать женщину в одном из подвалов здания. Легенда эта история или быль, судить не берусь, но мне лично довелось общаться с зеками, уверявшими, что призрак игуменьи в монашеском одеянии являлся к ним в ночь накануне приговора и называл точное количество лет и даже месяцев, которые они впоследствии получали в качестве наказания. Думаю, они говорили правду, хотя, к слову сказать, подобные разговоры не редкость на любой тюрьме, и этому есть свои объяснения. Во-первых, предугадать срок, зная статью и обстоятельства преступления, не такая уж сложная задача. Часто опытные зеки к концу процесса и без вещих снов знают количество лет, к которому их приговорит судья. Все остальное можно отнести к проделкам разума. Оказаться под следствием — это уже стресс, а если вдобавок на тебя надели наручники и посадили в незнакомую, агрессивную среду, то стресс может стать чрезмерным. Борясь с ним, человеческая психика начинает подключать свои скрытые резервы, и вот уже во сне к тебе является монахиня из услышанного накануне рассказа и дает ответ на вопрос, который мучил тебя последнее время.

Грань, отделяющая нормальное от ненормального, в жизни за колючей проволокой вообще очень размыта. Первая же ночь пребывания на тюрьме стала настоящим испытанием для моей психики.

Когда нас вели по тюремному коридору второго этажа, на улице уже стемнело и через зарешеченные окна были видны желтые огни корпуса напротив. Я несколько раз обернулся в надежде разглядеть в колонне Алика, но безуспешно.

Подельников даже после суда стараются держать подальше друг от друга. Ни их дружба, ни их вражда не сулят для тюремной администрации ничего хорошего. Вот и нас с Аликом развели по разным корпусам. Я оказался на старом, а его держали на так называемом «Титанике». Это здание строили хозбандиты, и то ли они чего-то не доделали, то ли чиновники, как это часто бывает, сэкономили на стройматериалах, в общем, весной, когда промерзшие за зиму стены начали оттаивать, по ним побежала вода. Ситуация складывалась плачевной, но тюрьма была переполнена, и подследственных продолжали держать в холодных промокших камерах. Потеряв всякую надежду на спасение, они прозвали тонущий в сырости острог «Титаником». Дорога на «Титаник» была непростой. Сначала она шла от старого корпуса на новый, и только затем до терпящих бедствие зеков. Несмотря на это, мы с Аликом успевали за ночь пару раз обменяться посланиями. Последнее время он стал часто болеть, и я старался его всячески поддерживать. Вопреки предписанию блатных не загружать дорогу съестным, я с каждой передачи отправлял ему груз с «глюкозой» и мелко нарезанным салом. При всех наших разногласиях Алик был единственным близким мне человеком на тюрьме. Тем для разговоров нам, как всегда, хватало, и мы каждый день с нетерпением ждали часа открытия дорог. А со временем у меня неожиданно появился еще один адресат.

Как-то раз в тюремный двор заехала машина с будкой, и немного погодя заключенных небольшими группами стали водить на флюорографию. Когда очередь дошла до нашей камеры, вошедший охранник назвал и мою фамилию. Нас вывели на улицу, где уже стояли другие зеки. Мобильный медпункт разместился в самом широком месте тюремного двора, между новым корпусом и «Титаником». Расстояние до машины было небольшим, но и этой неожиданной прогулке вне прогулочного дворика я был несказанно рад. Впервые за семь месяцев заключения меня не окружали серые бетонные стены. Дуновение ветра, чириканье воробьев, бесконечно высокое открытое небо — все это, обыденное, незаметное в вольной жизни, сейчас вызывало внутренний восторг. От свежего воздуха свербело в носу, зато одежда, которая была на мне, начала источать смрадный запах прокуренной камеры.

Пока охранники вели нас между корпусами, почти изо всех окон доносились крики, и мы не оставались в стороне:

— С каких хат?

— Два семь.

— Два девять.

— Елизару там «хоп» кричите, пусть вечером ждет от Петрухи.

— Ясно.

Очередь в медпункт продвигалась медленно, но это был тот случай, когда никто никуда не спешил. Погода была теплой. Мартовские лучи успели растопить висевшие на крышах сосульки, и у подножия солнечной стороны зданий заплескалась капель. Я стоял, задрав голову, и любовался небом, когда с одного из окон нового корпуса неожиданно раздался женский голос. Окликнув кого-то по имени, он замолчал в ожидании ответа. Пытаясь привлечь внимание, многие из стоявших в очереди стали шутить и махать руками, я же замер в ожидании. Горизонт неба, ветер, птицы... Да, увидеть и почувствовать это вновь стало необычайно радостным событием, и все же женский голос... Для нас, тех, кто сидел в старом здании тюрьмы, эта часть нового корпуса с окнами женских камер была сравнима с обратной стороной Луны. Я знал об их существовании лишь понаслышке. Алик писал, что иногда с «Титаника» видит, как женщин водят в баню через тюремный двор. С его слов, там было несколько молодых и довольно симпатичных девушек, а одна даже по-настоящему красива. Но тогда, в особенности зная характер Алика, я не обратил на это внимания. Кроме того, несмотря на время, проведенное в заключении, мое отношение к тюремной романтике оставалось довольно ироничным, если не сказать брезгливым. Вот и сейчас услышанный голос стал для меня явлением скорее метафизическим, тем более, я не мог видеть, кому он принадлежит. Лицо незнакомки скрывали железные жалюзи.

Спустя какое-то время окрик раздался вновь, и я успел слышать его получше. Видимо, это была молодая девушка лет двадцати. На фоне звуков, окружавших меня в последние месяцы, тембр ее голоса казался по-настоящему нежным и волнующим. Даже едва уловимая хрипотца в нижних нотах придавала ему лишь некоторую изысканность. Впрочем, я отлично

понимал, что, возможно, это плод моих фантазий, не имеющий ничего общего с действительностью. Между тем, становилось странным, что счастливчик, к которому обращались, все еще не откликнулся.

— Сережа! Томилов!

Все, кто стоял в очереди, как по команде оглянулись на меня. Я же растерялся и не сразу сообразил, что прозвучавшая фамилия принадлежит мне.

— Привет, а это кто? — как можно бодрей ответил я. На самом деле меня охватило жуткое волнение. Откуда на тюрьме помимо Алика могли взяться мои знакомые, да еще девушка?

— Это Наташа.

— Какая Наташа?

— Ключанцева, — из окна, которого кричали, донесся девичий смех, — ты в какой камере?

— Два девять, — все еще до конца не соображая, с кем говорю, ответил я.

— Хорошо, я тебе вечером напишу.

Только когда голос смолк, мне удалось прийти в себя. Наташка тоже здесь, сидит в тюрьме под следствием?! В это было трудно поверить. Еще ни разу я не ждал с таким нетерпением открытия дорог.

С этого дня мы стали писать друг другу письма, каждый вечер отправляя их по тюремной почте. Поначалу наши послания на обрывках тетрадных листов были наполнены воспоминаниями о школьных годах, одноклассниках и, конечно же, тех забываемых днях, пропитанных запахом кипарисов и пионерских костров, но со временем все чаще темой разговоров становились мы сами: «Ты не представляешь, как я обрадовалась, увидев тебя на тюремном дворе. Только потом до меня дошло, какая же я дура. Это же не берег Черного моря. А ты стоял, задрав голову, и смотрел куда-то в небо. Разглядеть тебя мешала решетка, но мне показалось, что на твоём лице была улыбка. По крайней мере, я вспомнила, как ты улыбаешься, и из моего сердца, впервые за долгое время, ушел страх. Это было так неожиданно. Поверь, если бы этого не произошло, у меня никогда бы не хватило смелости окликнуть тебя. Девчонки-сокамерницы, узнав, что ты

мой знакомый, стали смеяться и подначивать, а я, действительно как дуручка, сидела возле окна, и чуть не ревела. Серёжа, твое последнее письмо меня очень тронуло. Да, я догадывалась, но на воле ты никогда не говорил мне таких слов. Почему только сейчас? Даже обидно. Хотя, может, и к лучшему. Знаешь, я поняла, что любовь — как творческое озарение. Да, хочется верить, что эта мимолетная незаслуженная награда принадлежит нам, и только нам, но, поверь, это иллюзия. Попытками приручить, сделать из нее привычку, мы можем лишь разрушать это светлое чувство. К сожалению, я всю свою жизнь только так и делала. P. S. На прогулку нас водят в самый дальний семнадцатый дворик. Если будешь рядом, кричи, я отвечу. Очень хочу услышать твой голос. Странное чувство, ты где-то рядом, здесь, совсем близко, но мы не можем увидеть друг друга».

Боясь опоздать к закрытию дорог, я бросился писать ответ, а отправив его, не спал всю ночь, но вечером следующего дня запаянная в целлофан мулька, в которой у меня наконец-то получилось набраться смелости и признаться Наташке в своих чувствах, вернулась обратно. В сопроводительной записке говорилось, что мой адресат отбыл на этап. Спустя пару недель я получил бандероль с письмом, в котором Наташа делилась радостной новостью. Адвокат добился ее освобождения под подписку о невыезде. Это был хороший знак. Несмотря на тяжесть статьи, через два месяца судья вынес ей приговор — два года условно. Я надеялся, что на этом Наташкины проблемы закончатся и она начнет новую жизнь.

В 90-е молодых первоходов, особенно тех, кто писал кассационную жалобу на приговор или был в неосознанке, администрация любила проверять на вшивость, усложняя им и без того несладкие первые недели заключения. Крайний случай — пресс-хата. В ней сидели послушные администрации активисты, задача которых была сделать жизнь попавшего к ним новичка невыносимой. Нередко это заканчивалось тем, что неудобных из пресс-хат уносили прямиком в больничку. Впрочем, для такого развития событий нужен был особый повод, который я старался не давать. Компромата на меня не было, а заговорившему о плюсах нашего

взаимопонимания оперативнику я без намека на грубость, но категорически отказал. В итоге про меня как будто забыли, и одной проблемой в моей арестантской жизни стало меньше.

Коридоры нашего корпуса делились на большой и маленький продолы. Камеры большого вмещали по тридцать-сорок заключенных, а на маленьком — до десяти человек. Именно в такую небольшую хату меня и поместили. Первое впечатление после того как я переступил ее порог: разве можно в такой тесноте не то что жить, вынести хотя бы сутки. Свободного для передвижения пространства практически не было. Возле боковых стен на расстоянии вытянутой от меня руки стояли две двухъярусные шконки, втиснуться между которыми можно было разве что боком. Слева прикрывающая нужник застиранная занавеска, справа гора сваленных в угол баулов. В противоположном конце прохода под зарешеченным окном был вмурован сваренный из железного уголка стол. На тот момент в камере находилось шесть человек, я был седьмым.

— Ну что, заходи, раз пришел. Как звать? — заговорил широкоплечий, раздетый по пояс заключенный, сидевший в дальнем углу у окна. Чтобы увидеть меня из-под верхней шконки, ему пришлось склонить над столом свою бритую голову.

Я представился, сделал два шага и сел на край железной кровати.

— Чай пьешь?

— Да, только не сильно крепкий, — мой голос прозвучал виновато.

— Цыган, налей ему купца. Ну, говори, кто ты есть, как здесь оказался?

В процессе чаепития я рассказал о себе и познакомился с сокамерниками. Широкоплечего звали Коля Небесный. Коля был смотрящим не только за нашей хатой, но и всем продолом. Находясь в пределах камеры, он почти никогда не надевал одежду выше пояса и даже зимой на прогулки ходил лишь в короткой стеганой безрукавке. Руки и туловище были почти полностью синими. Посмотреть было на что. Спереди торс Небесного украшал образ Девы Марии с Младенцем на руках. Богородица с Сыном в окружении небесных ангелов парила на белом облаке. Про себя

я называл эту картину-наколку победой над гравитацией. Даже самые мелкие детали композиции передавали то легкое состояние невесомости, в котором находились Дева и херувимы. Все мирское, включая земное притяжение и время, здесь не имело власти, а восходящие воздушные потоки, развевающие тунику Богородицы, лишь подчеркивали безмятежность, царящую на ее лице и образе Сына. Но еще больше неискушенного в тюремном творчестве зрителя мог впечатлить вид Колиной спины. На ней от пояса до плеч было изображено тело Христа, снятого с распятия. Смерть Сына Божия отразилась на лицах склонившихся над Учителем Марии Магдалины и одного из апостолов выражением нескончаемой скорби и страха. Изящность своей работы кольчик подчеркнул прорисованными контурами в сочетании с тонко наложенными тенями. По-видимому, за эти изображения библейских сюжетов их обладателю и дали столь необычное прозвище. Кроме Небесного и старика Цыгана, остальные сокамерники представились как Фикса, Сиплый, Лом и Кречет.

— Сегодня ночуешь с Цыганом на нижнем шконаре, — продолжил Небесный, — а там посмотрим. Может на этап кого дернут. Сиплый, введи его в курс дела, расскажи, че почем.

Первое время, не зная тюремных законов и правил, я чувствовал себя зажато, но понемногу освоился, и жизнь пошла своим чередом. Мне повезло оказаться в камере с таким смотрящим, как Коля. Одно его присутствие уже гарантировало спокойствие и порядок в хате. Спорщики знали: из-за мелочи даже разбираться не станет, попадет и тому, и другому. Казалось, не было ситуации, способной вывести Небесного из его душевного равновесия. Даже во время шоу масок он был спокоен, как если бы пил чай или читал книгу, и я не раз в такие моменты на уровне инстинкта самосохранения держался к нему ближе.

Однажды Колю на пару дней перевели на большой продол, где у блатных был очередной сходняк, и я не без удивления заметил перемены в своих сокамерниках. В отсутствии смотрящего Лом, как бы между делом, принялся демонстрировать свою физическую силу, по поводу и без затеявая единоборства с Фиксой и Сиплым. Те в ответ налегали на знание уголовных понятий, рассказывая случаи строгого спроса с тех, кто осмеливался их нарушать.

Противостояние сторон в конце концов чуть было не закончилось дракой. Даже престарелый Цыган, до этого с удовольствием варивший общий чай, начал высказывать свое недовольство по этому поводу. Казалось, атмосфера камеры безвозвратно испорчена, однако после возвращения Небесного все быстро встало на свои места. К Цыгану вернулось желание заведовать чифиром, а Лом с Фиксой и Сиплым, как и прежде, большую часть дня стали мирно проводить за игрой в карты.

Спустя пару недель, проведенных на тюрьме, я окончательно обвыкся с новой обстановкой, худо-бедно наладив свой арестантский быт. Нижнее белье, как оказалось, можно стирать прямо на себе, пока моешься в душе, сдобренная бульонными кубиками и подогретая на водяной бане баланда становилась вполне съедобной, а если распустить старую ненужную кофту и попросить Цыгана, то он за вечер свяжет тебе теплые носки. Но бытовые проблемы оказались не такими уж значимыми по сравнению с тем, что пришло за ними. Уже через месяц мне стало казаться, словно я нахожусь в этой маленькой прокуренной камере всю свою сознательную жизнь. События, произошедшие неделю назад, могли представляться вчерашними, а то, что было недавно, приходилось усиленно вспоминать. В итоге я сначала запутался в днях недели, а затем и вовсе перестал делить сутки на день и ночь. Часы заключенным не разрешались, дневной свет через зарешеченное окно почти не проникал, зато лампочка в камере не гасла никогда.

В первые месяцы тюремного заключения часто снится дом. Однажды под утро в одном из таких снов я увидел себя в своей комнате на своем любимом диване. Мама готовила завтрак на кухне, и треск раскаленного масла, как всегда, обещал что-то вкусное. Приятность моменту добавлял пригревшийся на груди домашний любимчик Тишка. Моя рука потянулась, чтобы погладить кота, когда в кормяк камеры постучали. Я почти проснулся, но, поняв, что это хозбандиты принесли кипяток, начал снова проваливаться в сон. Подо мной уже снова был мой любимый диван, как вдруг пришло осознание того, что Тишкино мурчание и его тепло на моей шее настоящие. Я подскочил как ошпаренный, и в ту же секунду огромная крыса спрыгну-

ла с моей груди. Черная спина с длинным хвостом метнулась по краю одеяла и исчезла в проеме между стеной. На верхнем ярусе засмеялись:

— Ты че мою Лариску обижаешь?

— Да пошел ты, Фикса! А если бы она меня укусила?!

Я готов был содрать кожу, продолжая чувствовать на шее противное крысиное тепло.

— Не бойся, она у меня ручная. Зря я ее, что ли, сухарями кормлю?

— Эй ты, юный натуралист, — раздался голос смотрящего, — смотри, чтоб ничего тут не погрызла. Закажут на зону — стельки из нее справлю.

Небесный шутил.

Однажды к нам из соседней хаты перевели малолетку, которому исполнилось восемнадцать лет. Невысокого роста щуплый подросток стоял в проходе, держа в руках огромный майдан, сшитый по последней тюремной моде из мешковины. Было видно, что он робел, хотя и не подавал вида.

— Вечер в хату!

— Здоров, здоров. Проходи. Цыган, поставь воду на чифир. Надо встретить человека!

Наигранный пафос в голосе Небесного сдабривали едва уловимые ноты иронии. На слове «человека» он сделал особый акцент, произнеся его с нарочитым уважением.

— Как звать-величать?

— Монтана.

— Монта-а-ана?! — смотрящий изобразил удивление, как если бы перед ним стоял не мальчишка из соседней камеры, а сам архангел Михаил спустился с небес. — Кто к нам пожаловал! Так это ты у них там за главного был?

Небесный имел в виду малолетнюю камеру.

— Ну проходи, располагайся.

Подросток с трудом втиснул майдан под шконку и сел с края. Сиплый протянул ему камазик с общаковыми сигаретами:

— Закуривай, не стесняйся.

Монтана взял сигарету, достал из кармана зажигалку и ловким движением чиркнул кремень.

— Как вы там поживаете без взрослых-то? — на правах главного продолжил Небесный.

— А че? Сойдет.

— Хорошо, значит. Чай, курить в достатке?

— Да как у всех. Бывали голяки, но решали. Пока я смотрел, помощь с общака всего раз запрашивали.

— Мамки да бабки не забывают, значит.

Позже я подружился с Монтаной, и мы не один час провели за разговорами. Он был всего лишь на год с небольшим моложе меня, и это нас сближало. Однажды я спросил, есть ли у него мечта.

— Мечта? — удивился он. — Помимо освобождения?

— Ясен пень.

— Ну да. Поплавать в настоящем бассейне охота.

— А что, бывают ненастоящие? — вначале в шутку, затем, поняв, что Монтана что-то скрывает, всерьез стал допытываться я.

Мой собеседник долго отшучивался, но в конце концов сознался.

— Прошлым летом в июле, когда жара даже ночью шторила, мы с пацанами неделю хлеб не ели.

— Голодовали, что ли?

— Да нет, копили на пластилин и в пятницу после вечерней проверки начали. Матрасы с баулами закинули на верхние ярусы, с порошком вымыли пол и задраили тещу. Большие щели на полу законопатили тряпками, мелкие замазали тем хлебным пластилином. Полночи возились. Потом, когда все приготовили, открыли кран.

— Ну вы даете! Покупаться, что ли, захотели?

— Да я же говорю, жара невозможная была. Духота, че в прожарке.

— И как? Срослось? — влез в разговор вездесущий Фикса.

— Вода уже почти до колен поднялась, когда охранник спалил. Поплавать, конечно, не получилось, но все равно прикольно было. Правда, меня потом в изолятор на трешку закрыли. Прямо как был, в одних мокрых трусах. Хозяин типа: «Что, покупались? Теперь позагорай». А там в подвале такой колотун — я чуть было не озяб. Потом в больничке лечился. Зато ты бы видел лица дубаков, когда

они дверь открыли. Их аж откинуло, такая волна! Ух-х! У нас Маугли чуть потоком на продол не вынесло, хорошо, за шконарь уцепился. «Тону, — орет, — помогите!» Короче, весело было.

— Да уж, представляю, — рассмеялся я. — Но ничего, какие твои годы. Освободишься, сходишь в настоящий бассейн, поплаваешь. Главное, не забудь, о чем здесь мечтаешь.

Есть мнение, что зона — это модель государства. В то время я еще встречал зэков с татуировками ленинского профиля на груди, которые за неверно сказанное слово могли отправить на тот свет, и всегда удивлялся, как, будучи рассудительными и далеко не глупыми, эти люди совмещают в себе, казалось, несовместимое. Да, с ними было интересно общаться, они много читали, играли в шахматы, были отличными психологами. Однако, если дело касалось понятий, становились жесткими и даже жестокими, как к окружающим, так и к самим себе.

Перед отправкой на зону в этапке я познакомился с одним из таких зэков старой формации. Небольшого роста, улыбающееся лицо. На руках и груди, которые не скрывала надетая на голое тело душегрейка, было несколько светло-голубых, видимо, набитых еще в молодости, татуировок. Несмотря на солидный возраст, все звали его Сережкой. Что это, погремуха или настоящее имя, я так до конца и не понял. Бывшие с ним накоротке зеки относились к Сережке с подчеркнутым уважением. Уже на тот момент стаж его отсиженных составлял более двадцати с лишним лет, но, несмотря на это, в нем было столько жизненной энергии и оптимизма, что мне в мои двадцать прожитых оставалось только позавидовать.

Этапка — как тюремный вокзал, отсюда отправляют на этап, и здесь встречают новоприбывших зэков. Содержат на этом «вокзале» тоже, как правило, не больше суток. За это время администрация решает, в какую камеру тебя поместить, или готовит документы для перевода в лагерь. Кроме того, такая временная изоляция выполняет роль хоть какого-то карантина. Для самих же зэков этапка — это возможность встретится и пообщаться со знакомыми из других хат, узнать новости с воли и то, что произошло на тюрьме за время твоего отсутствия. Атмосфера здесь всегда особенная. Один отсудился и привез срок,

бодрится, но видно, что не ожидал столь сурового приговора, другой приехал с зоны за добавкой, третьего отправляют за пределы, и он, возможно, уже многие годы не увидит знакомого лица. Я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, после четырех месяцев, проведенных на тюремке, находиться в тесной прокуренной камере уже не было сил. Мне удалось привыкнуть к тюремным правилам и сдружиться с сокамерниками, а неизвестность пугала. Последнее время я старался как можно больше узнавать о зоне, расспрашивая тех, кто на ней побывал, и Сережка словно прочитал мои мысли.

— Первоход?

— Ну да.

— По какой статье?

— Восемьдесят седьмая, первая.

— Так это вы с подельником фальшивые деньги печатали?

Слыхал. А что так глупо попались?

— Плохого качества были.

Сережка стал расспрашивать о технологии изготовления, но из разговора я понял, что компьютер он в глаза не видел и интересовался скорей ради общего интереса. Общаясь со мной, он подозвал одного из пятаков, достал кисет с чаем и, насыпав ему заварку за работу, вручил свой чифирбак.

В этапке не было розетки, поэтому из дальнего угла уже доносился запах горелого целлофана и бумаги. Чифир варили на «дровах». Делаются они довольно просто. Плотную свернутую в трубку бумагу, желательно с кусками разорванной тряпки, вначале оборачивают в целлофан, а затем запаивают. Полученные таким образом «свечи», меньше дымят и горят гораздо дольше. Чтобы сэкономить теплотраты, вода в таких случаях часто кипятится в простом целлофановом мешочке.

Пятак оказался проворным, и спустя какое-то время перед нами уже стояла литровая кружка дымящегося кипятка. Сережка закинул в нее пару горстей заварки, накрыл крышкой, и мы продолжили разговор. На этот раз о вещах более серьезных.

— Уже решил, кем пойдешь по этой жизни?

— Еще нет.

— Решай, времени мало осталось. Тебе говорили, что если выберешь блатную стезю, то обратной дороги не будет? Отступникам нет места среди людей.

— Да, я знаю.

— Главное, пойми, твое это или нет. От этого будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь. Отрицалово должен помнить, кто он такой, и здесь, и на воле. Так что хорошо подумай.

Облокотившись на свернутую в изголовье фуфайку, мой собеседник продолжил.

— Сказать по правде, я иногда завидую мужикам. Вернулся с работы, в отряде семейник ждет. Попили чай, обменялись новостями. Пришло время, пошел на свиданку. Будешь работать, не косячить, появится возможность свалить по УДО. Тебя дома, наверное, девчонка ждет.

Признаться, я был удивлен, услышав такие сантименты от блатного зека со стажем.

— Скажи, тогда почему для себя ты выбрал другой путь?

Сережка бросил на меня строгий взгляд, в котором читалось явное предостережение. Стало ясно — я слишком близко подошел к грани дозволенного. Он всего лишь пытался мне помочь разобраться в чем-то, по его мнению, действительно важном, а я по наивности решил, что старый отказник мог усомниться в выборе своей собственной жизни. Впрочем, Сережка не стал заострять на этом внимание и продолжил нашу беседу, отчасти ответив на мой вопрос.

— Раньше другое время было. Помню, рыдал от обиды, когда первый суд мне по малолетству дал условный, а подельнику реальный срок. Стыдно было перед друзьями показаться. Как так, остался на воле?! А теперь? Сначала сдают друг друга, а потом людские судьбы решать лезут. Сегодняшняя молодежь видит лишь красивую сторону блатной жизни — статус, понты, а другую — настоящую знать не хотят.

Сняв крышку с чифирбака, Сережка принялся келешевать из кружки в кружку темно-коричневую дымящуюся жидкость. На его правом плече я заметил большой корявый шрам, который проходил через одну из ранних наколок, отделяя изображение кирпичной стены от тюремной решки. Видимо, когда-то рука

в этом месте была ломана и неправильно срослась. Сережка заметил мое любопытство.

— Опера постарались. Сначала сломали, а затем ей же пристегнули на ночь к батарее. Доставай кружку, а то я с обеда не чифирил.

Я достал из майдана пластмассовый стакан и кулек с конфетами. Заваренный Сережкой чифир оказался слишком крепким, вязал во рту, и мне приходилось осторожничать, чтобы не стошнило. За девять месяцев, проведенных на тюрьме, я так и не научился чифирить в полной мере, всякий раз разбавляя этот крепкий зековский напиток до купца. В этапке такой возможности не было и мне оставалось цедить из стакана маленькими глоточками. Я морщился, вызывая улыбку на Сережкином лице, зато спустя какое-то время меня, словно одеялом, накрыло уютным теплом, которое помогло расслабиться и отпустить переживания о завтрашнем дне.

Этап из тюрьмы на зону — отдельная страница в жизни любого зека. Иногда это всего лишь пара шмонов и полча-са езды в воронке, а иногда — испытание нервов и здоровья на многие месяцы. Куда тебя привезут, не знает никто. Об этом можно только догадываться. В один прекрасный день открывается кормяк, и охранник перечисляет фамилии арестантов, заказанных на этап, после чего в камере начинаются спешные сборы.

Я уже сидел на бауле, когда пришел прогон блатных со списком этаплируемых с других камер. Зачитывая его, Небесный среди прочих назвал фамилию Алика, что изменило мое настроение и помогло воспрять духом. Теперь я был не один.

— Ну че там, Цыган, с чифиром? Давай шустрой. На большом уже выводить начали.

Смотрящий протянул мне блок сигарет и двухсотграммовую пачку чая.

— Это с общего, на этап. Фикса, Кречет, спускайтесь вниз, присядем на дорогу, проводим.

— Держи, это тоже тебе.

Возникший из толчеи прохода Монтана держал в руках теплые, полосатые, под тельняшку, носки.

— Ого! Так вот куда делся твой синий свитер. Тоже предлагаешь поплавать?

Монтана виновато улыбнулся, и мы обнялись.

— Спасибо, пацаны!

До пункта назначения нас везли четыре недели. Сначала на воронке до железной дороги, затем столыпинский вагон, пересыльная камера центральной тюрьмы, и снова воронком уже до зоны.

Этап не одному зеку сломал судьбу. Если на тюрьме и в зоне все построено на строгом соблюдении законов и правил, то этап можно описать тремя словами — анархия, безнаказанность и жестокость. Прежде всего это относится к отношениям между самими арестантами, но свою лепту вносит и конвой. Охранники делают все, чтобы пресечь у этаплируемых любую мысль о побеге, по поводу и без пуская в ход дубинки. Шмоны во время пересылки проходят также в крайне жесткой форме. Часто содержимое зековского багажа просто вытряхивается на тюремный пол. Особенно не любят досмотрщики большие баулы и всячески дают это понять. Конфискованные вещи уничтожаются тут же. Оспаривать их судьбу бесполезно и даже опасно.

На железнодорожную станцию нас привезли уже далеко за полночь. После яркого света прожекторов и лая собак темнота столыпинского вагона помогла успокоиться, но ненадолго. Как только состав тронулся, в купе за железной решеткой начались разборки. Били «красных». Если на тюрьме они сидят в отдельных хатах, а в зоне им покровительствует администрация, то здесь заступиться было некому. С верхних ярусов летели чьи-то бумаги, порванные вещи, раздавались крики, матерки, плач. Кто не участвовал в мародерстве, пытались наладить контакт с конвоем из солдат-срочников. Тюремные сувениры и одежда шли в обмен на сигареты и спиртное.

— Слышь, начальник, ботинки кожаные не интересуют? На дембель, ну или продашь. Глянь, почти новые.

— Какой размер?

— Сорок второй.

Молодой паренек в тюремной фуфайке сделал умоляющее лицо, кивнув в конец коридора, где везли этапниц.

— На полчаса, старшой, и обратно.

— По согласию?

— Как иначе. Я не из этих, могу малявы показать. На тюрьме познакомились.

Охранник, ухмыльнувшись, глянул на дверь входного тамбура.

— Не сейчас. Старлей придет, там порешаем.

— У меня еще четки промовские, огонь. Только не забудь.

— Эй, слышь, начальник, погоди! — вынырнул из-за спины паренька очередной переговорщик. — А бухло есть?

— Та еще будет ночка, — шепнул мне на ухо Алик.

Пытаться уснуть в таком бардаке было бесполезно, да и чревато последствиями. Те, кого везли не до конца, на выходе могли запросто прихватить чужой баул. Выяснить потом, кто это сделал, — занятие бессмысленное. Дорога спишет все. Забравшись на одну из полок, мы договорились спать по очереди, но до самого утра так и не сомкнули глаз.

На пересыльный централ наш воронок заехал лишь вечером следующего дня. Несколько часов на ногах в привратке, очередной шмон, и новоприбывших стали разводить по камерам. В этот раз нам с Аликом повезло оказаться вместе. Этапка, в которую нас завели, была поделена на две половины. Дальнюю от входа, с окном, занимали блатные, на другой, по трое-четверо на шконаре, ютились мужики, еще двое арестантов, попавших под вопрос, спали у входа, на сваленных в кучу баулах.

За этапкой, в которой нам предстояло провести несколько недель, смотрел жулик по кличке Никорэ. Бывший спортсмен, с приходом девяностых сменивший хоккейную клюшку на биту, сидел за вымогательство и, видимо, даже за решеткой не смог расстаться со своим ремеслом. Случай далеко не единичный. В то время, особенно в пересыльных тюрьмах, процветала так называемая махновщина. Вместо того чтобы следить за соблюдением воровских понятий, некоторые блатные во вверенных им камерах устанавливали свои собственные порядки. С молчаливого согласия Никорэ его приближенные периодически затягивали в свой проход кого-то из первоходов, заставляли выворачивать майдан и забирали якобы на общак чай, сигареты или понравившуюся одежду. Чтобы слух об этом не дошел до смотрящего

за тюрьмой, малявы от неблагонадежных тщательно пробивались. То, что общак — дело добровольное, известно любому зеку, а объяснять это тем, кто должен следить за соблюдением законов уголовного мира, было бы наивно. К тому времени я уже точно знал, что буду сидеть простым мужиком и постараюсь как можно скорее выйти на свободу. Но одного желания для этого было недостаточно. Затевая разборки на тюрьме, ты должен хорошо представлять их возможные последствия и как минимум быть готовым идти до конца, какой бы оборот они ни приняли. Нередки случаи, когда осужденные на год или два в итоге отбывали куда больший срок, поэтому, посоветовавшись с Аликом, мы решили добровольно отдать блатным часть наших запасов.

Сидя в ненавистной этапке, мы с нетерпением ждали каждую среду или пятницу — дни, когда заказывали на этап, но охранник, зачитывающий списки, упорно не хотел называть наши фамилии. Из-за тесноты значительную часть суток приходилось бездвижно просиживать на шконаре, и все же больше всего давила сама атмосфера камеры. Очередной виток напряжения возник после того, как Никорэ объявил, что кто-то из мужиков стучит администрации. Поводом стал обыск, во время которого охрана нашла залитую в систему отопления брагу. Заявление смотрящего многим показалось странным. Во-первых, секция блатных была отделена занавесками, открывавшимися лишь на время обходов, поэтому, что творилось за ними, мужики просто не могли знать. И уж тем более сложно представить, как, сидя в камере, кто-то из арестантов умудрился наладить связь с администрацией. Алик же вообще был уверен, что курок с пивом сдал сам смотрящий. Он слышал, как во время прогулки Никорэ сказал кому-то из приближенных, что брага не удалась. По версии Али, чтобы оправдаться перед блатными за потерю ценных на тюрьме сахара и дрожжей, Никорэ и придумал эту историю. Как бы там ни было, но после случая с брагой и без того непростые отношения между двумя половинами этапки испортились окончательно, и неизвестно, чем бы закончился назревший конфликт, если бы в один прекрасный день на ее пороге не появился этот человек. Тюремная жизнь камеры на секунду замерла. Выглянувшие из-за занавески блатные и сидевшие по шконарям мужики

устремили свой взгляд на новичка. Кто-то, не выдержав, хихикнул, и было понятно почему. Кирзовые башмаки, штаны, фуфайка, даже шапка — вся одежда новопривывшего с ног до головы была располосована белой краской. Обладателем столь экстравагантной тюремной робы оказался невысокого роста сутулый дед, испещренное морщинами лицо которого смотрело на нас озорным и вместе с тем немного уставшим взглядом. После того как охранник захлопнул дверь, дед широко улыбнулся и, громко поздоровавшись со всеми разом, шагнул вперед. Я встал, уступая место на шконке, но не успели мы толком познакомиться, как прибежал шнырь смотрящего, сказав, что Никорэ зовет новопривывшего на чифир.

Общение за чаем может длиться часами, только в этот раз не прошло и десяти минут, как дед вернулся.

— Блатные к себе тянут. Отдельный шконарь с тумбочкой дают. Заслужил, говорят.

Сидевший с краю Коля Спица, дотянувшись до изголовья, подал ему полосатую фуфайку. Дед лукаво взглянул на него, но одежду брать не стал.

— Погодь выгонять-то. К комфорту вовремя не приучили, а на восьмом десятке меняться поздно. С мужичками обойдусь как-нибудь.

Так Старик, это было его прозвище, остался с нами, разбавив наши унылые арестантские будни. Живя в камере, он словно не замечал ни тесноты, ни затхлый прокуренный запах матрасов, ни то, что на завтрак, обед и ужин дают кислую капустную баланду, относясь ко всему, как к чему-то само собой разумеющемуся. Из личных вещей у него была лишь небольшая сумка да кiset, в котором он хранил табак из распотрошенных бычков и несколько старых писем. Наблюдая за тем, как дед сворачивает самокрутку, заваривает чай или с интересом читает обрывки мятых газет, казалось, что здесь его дом, вернувшись в который он случайно застал незваных гостей, но и ими, как и всем остальным, остался доволен.

Действительно, наш новый сосед не был прихотлив в тюремном быту, и все же его отказ от предложения блатных был продиктован отнюдь не аскетизмом. Старый особист знал: там,

где он провел большую часть жизни, а за плечами у него было более сорока отсиженных, за все надо платить. Да, дед не был блатным, но его уголовный стаж и жизненный опыт оставляли за ним право голоса в решении вопросов тюремной жизни. Ему уж точно никто не мог помешать отписать смотрящему за тюрьмой, а в том, что он сумеет это грамотно сделать, сомневаться не приходилось. Этого-то и боялся Никорэ. Деду понадобилась лишь пара взглядов, чтобы понять обстановку в камере, поэтому его отказ от привилегий так раздражал смотрящего. Фигура Старика была вообще непонятна большинству из его окружения. Как так — бывалый особист, а на теле ни одной наколки? Говорит тоже как-то странно, слишком правильно. Даже если собеседник не прав — не грубит, отвечая на словесные выпады и поддевки улыбкой. словно что-то твердое было спрятано внутри немолодого тела, в прищуренном взгляде его выцветших глаз. Противоречия эти замечали не только блатные. Одних они настораживали, в других, к которым относился и я, вызывали любопытство. После нескольких безуспешных попыток однажды за чифиром все же удалось разговорить деда.

— Какой там благовать, я и уголовником-то никогда не был. Первый срок, как и многие в то время, по пятьдесят восьмой схлопотал. Молодой, горячий, да еще влюбленный мальчишка, студентик. Лагерь быстро сбил с меня эту спесь. Политических тогда жулики не жаловали, считали их бесхребетными, вшивой интеллигенцией, вот и пришлось отстаивать свои жизненные убеждения уже не словами, а поступками. Был там один такой приблатненный по прозвищу Федя Скучный. Сучный, как мы его звали, и было за что. Шпана по сути, но там чувствовал поддержку, любил на слабых отыграться. Не одному из наших он судьбу сломал. Вот и я всяко пробовал, только ничего он не понимал, не слышал. Шуточки, издевки, намеки. Полгода ему хватило, чтоб подвести меня к черте, после которой матрас сворачивать и в дырявые, или... Но ошибся он, не ожидал. До сих пор не могу забыть его удивленных глаз. Убийство — страшный грех. Когда молюсь, прошу прощения, но, видимо, не заслуживаю. Может, потому что сам до конца не могу простить. Вот так из политических я и стал уголовником. Конечно, страдануть пришлось за тот

поступок, живого места на мне не было, кровью ссал. На проверку под руки носили, но и жулики через тот случай поменяли отношение к нашим. Уж не творили тот беспредел, остерегались. А потом пятьдесят третий пришел, амнистия. Политических почти всех подчистую нагнали, а я так и остался свой добавленный срок с уголовниками досиживать.

Слушая тихий, сипловатый голос деда, я время от времени заглядывал ему в глаза, ища отголосок прожитых переживаний, но его взгляд, как всегда, был непроницаем.

— Что еще рассказать? Наверно, интересно, почему так много? Че улыбаешься? Сложный вопрос. Помню, когда впервые освободился, как чумной ходил. Все непривычным, каким-то фальшивым казалось. Соберемся с друзьями, они шутят, дурачатся, а мне кажется, сейчас за базар рамсить начнут. Боковым зрением кошусь, чтоб со спины никто не зашел. Нет, все тихо-мирно, дальше общаются, только я, как дурак, не знаю, куда себя деть. Одним словом, пересиженный. Хотели с девушкой свести, а она на свидание накрашенная пришла. Видать, понравиться хотела. Губы в помаде, вокруг глаз зеленым намазано. Приятель ей: «Хорошо выглядишь», — а мне дико! Я ж такого отродясь не видел. Садился-то еще в послевоенные, тогда хозяйственного мыла-то было толком не достать, а уж какой там макияж. Пришли в гости, дело молодое, она вроде и ближе познакомиться не прочь, а я хоть убей, не в своей тарелке, двух слов связать не могу. Короче, потыкался-помыкался, вышел на лестницу покурить и деру. Вот так вот. Да и легавые не отставали, не давали жизни, в конце концов, все по-ихнему и вышло.

Дед достал кисет и, свернув самокрутку, густо прослюнил края.

— Да что там я. Был у нас в лагере Гриша. Мать его в женской колонии родила. Оттуда в детдом, затем спецприемник и снова зона, только уже малолетка. Неуживчивый у Гриши характер получился, вспыльчивый. Чуть что, сразу за заточку. Только на взросляке три раза раскручивался. Последний раз охранника пырнул. Хорошо, в пряжку попал, не поранил даже, но срок все равно за нападение накиннули. В итоге, просидел он безвылазно три по десять с хвостиком. Когда время освободиться пришло,

ему уж за сорок стукнуло. Помню, встал он в тот день ни свет ни заря, еще до проверки, и как заведенный по сектору туда-сюда, что ошпаренный. Постригся, побрился, баул собрал. Шныри ему где-то рубаху белую раздобыли, отутюжили, а он смеется, подшучивает над всеми. Ни разу мы его таким не видели. Одел эту рубаху, успокоился вроде. И вот уже заварили чай, поздравили его, пожелали, начали прощаться. Тут в рупор на плацу объявляют, что, мол, такой-то и такой-то — явиться с вещами на вахту для освобождения. Другой бы плясал от радости, а он услышал свою фамилию, и встал, как вкопанный. Смотрю, у него чифир в пультке дрожит. Размахнулся да как даст ее об пол, опустился на табурет и заплакал. Сидит, лицо руками закрыл, только плечи трясутся. Мы подошли: «Ты, че, Гриша? Радоваться надо». Нет, говорит, боюсь, шибко страшно на волю выходить.

Через неделю нас с Аликом и еще девять человек, включая Шрама и Спицу, тоже наконец-то заказали на этап, и я укладывал баул, когда среди суеты общих сборов ко мне подошел Старик.

— Есть минута?

— Да, конечно, — я пододвинулся на край шконаря, предлагая ему присесть.

— Волнуешься?

— Есть немного.

— Не переживай. Все это жизнь.

Дед положил руку на мое плечо.

— Я, кажется, не сказал тебе главного. Еще в начале своей арестантской жизни мне в лагере довелось застать одного батюшку. До конца срока ему оставалось всего ничего, несколько месяцев. Как и все, лысый, безбородый, с впавшими от цинги глазами. Внешне он мало походил на священнослужителя, и все же тех, кто сидел за так называемую религагитацию, было сразу видать. Я и сейчас не назову себя верующим, а тогда и вовсе, но вот одни его слова помню до сих пор. Мы работали в одной смене на пилораме, катали топляк, и во время перерывов, пока сохли верхонки, часто разговаривали. Однажды отец Павел, как мы его звали, больше в шутку, чем всерьез, признался, что, прожив жизнь в поиске Бога, он обрел его только здесь, за колючей проволокой.

Не бойся страдать, сказал он, цени этот Божий дар. Только обменяв рай на свободу, человек получил право на эту главную привилегию Бога. А без них, без страданий, наша жизнь бессмысленна.

Старик на секунду замолчал, и взглянув на меня, продолжил:

— Мне, как тебе, не было на тот момент и двадцати, но задумайся я над его словами, кто знает, может, хватило бы сил выдержать отпущенное тогда испытание и не взять в руки заточку.

Закончив говорить, дед протянул мне одно из писем, которые хранил в своем кисете. На пропахшем табаком листе пожелтевшей бумаги, исписанном красивым каллиграфическим подчерком, стояла подпись: «Храни Господь!», а еще чуть ниже: «От иерея Павла Башкатова».